**РЕФЕРАТ**

**ТЕМА:**

**ПРИШВИН М.М.**

**Воспевающий природу.**

2008 г.

Писатель М. М. Пришвин прост и полон, как сама природа, И именно как природа действует на наше сердце: так бывает при жизни в лесу — вроде уже знаешь каждое дерево, каждый по­ворот реки, каждое пятно света в листве, а взглянешь наутро, и все целостно и ново и словно не тронуто зрением, как в первый раз. Эта полнота впечатления оттого, что писатель сам не мог наглядеться на мир, и каждый день видел его новым и понимал всем сердцем, и каждый день жизни проводил в природе с таким вниманием к ней, как будто она и есть вся тайна и полнота жизни.

В предвоенном дневнике писателя сохранилась запись выступления перед школьниками — там есть удивительное место, точно определяющее отличие Пришвина от тех, кто занимался природой и писал о ней: «Теперь я убедился, что моя природа мало имеет общего с той природой, которая находится в руках биоло­гов. Они учат, что если вы узнали воробья, так, значит, и всех воробьев. А я — что все воробьи разные и каждый из вас может открыть своего воробья. Моя наука есть наука родственного внимания своеобразию каждого существа. Эта наука привела меня к искусству слов, а искусство слова к родине. И я понял, что природа есть родина».

В этом он не только от биологов отличался. В сущности, и писатели обычно видят «воробья» не именно вот этого, который теперь сидит на ветке и которому можно, если захочешь, и имя дать, как в сказке, а вообще воробья; Пришвин же каждую птицу и каждый куст писал как единственный, как писал бы реального человека, так что мы могли подойти и узнать и этот куст, и эту птицу и не спутать их с другими. А самое глубокое в этом признании, конечно, то, что «природа есть родина». На первый и взгляд тут как будто и нет ничего нового — кто же не знает, что чувство родины острее всего пробуждается в одиночестве перед красотой милой природы? Но одно дело умом знать и повторять за другими и совсем иное — увидеть существо пришвинского открытия и принять его в себя как свое. Эта простая мысль по сути своей глубока и очень значительна и каждым человеком постигается самостоятельно, а душевно слепому человеку может так и не открыться в течение всей жизни. Родина, говорит художник, творится в ежедневном постижении природы, чувство Родины растет в человеке в течение всей жизни с каждым новым простым открытием. И чем более человек открывается и видит в природе, тем более он сам становится Родиной, народом, тем духом земли, который питает следующие поколения.

Это особенно важно помнить в наши дни общей борьбы за сохранение родной земли. Сейчас стали видны горькие результаты расхождения человека и природы, о которых русская литература задумалась еще в начале века. В 1900 году земляк и сверстник Пришвина И. А. Бунин писал в «Вестнике воспитания»: «Современное культурное общество — особенно в больших горо­дах — слишком отдалилось от могущественного и благодетельного влияния природы... городская молодежь по большей части мало знакома с самыми обычными явлениями природы: она посте­пенно утрачивает даже самый интерес к природе, научается мыслить не живыми образами, а отвлеченными символами». Бунин больше говорит об эстетическом чувстве природы, но ведь настоящая дорога к пониманию родного мира и защите его как раз с чувства прекрасного и начинается, и тут Бунин прав: «...хорошая картина, хорошее описание природы не только возбуждают интерес к природе, не только закрепляют в уме и чувстве ее образы, но помогают отчетливее и яснее усвоить ее характерные черты, ее душу... Ясно, следовательно, какую воспитательную роль могут играть поэтические описания природы, описания тех художников слова, у которых произведения дышат живой жизнью и правдой». Пришвин чувствовал эту «живую жизнь и правду» острее других, потому что для него каждый муравейник — общество и каждая молодая сосна — собеседник со своим голосом. И когда человек, по словам Пришвина, так «выглядывает из себя», для него «открывается в душе родник радости жизни чистой, святой и страстное желание прийти к людям, не понимающим этого, и открыть им непостижимые сокровища жизни, скрытые от них суетой, пустяками».

Для каждого читателя в творчестве Пришвина открывается свое окошко, и каждый видит по своей душе и по своему возрасту. Понимание может расти вместе с читателем и год от года существенно изменяться. Для меня главное видится вот в этом «роднике радости». И как бывает в лесу, когда набредешь на родник, его хочется прибрать и обустроить, чтобы он был виднее идущему следом, так хочется остановиться у этой дорогой пришвинской темы и сделать ее очевиднее и необходимее, потому что, как мы удалились от природы, так, словно в укор, отдалились и от радости. И не делать тут разницы между взрослыми и детьми, потому что дети — это зеркало взрослых.

Легко быть радостным, когда судьба балует тебя и все складывается самым желанным образом, но такая радость обычно недолговечна и эгоистична — она не узнается другими как своя и ничем не помогает другому человеку. Пришвин с детства растит в себе свет, часто вопреки обстоятельствам, что так чисто, обаятельно и подробно написано в автобиографическом романе «Кащеева цепь». Мальчик на наших глазах пробирается к своей душе, пре­одолевая все обычные детские препятствия — молодое тщеславие, кажущееся непонимание других и детскую обидчивость, когда думаешь, что все стрелы пущены в тебя. Лет с восьми он уже чувствовал в душе смутную борьбу тех начал, которые обычно определяют и жизнь взрослого человека, если он не поддается удобному автоматизму бездумного существования, а доискивается именно своего места в этой жизни: мальчик непременно хочет быть не таким, как все (это как раз общее у всех детей, которых томит их требовательное «я»), но вместе с этим — что уже черта редкая, обнаруживающая глубокую и беспокойную душу,— он хочет остаться со всеми. Взрослые люди знают, какой ценой достается такая диалектика. Быть не таким, как все, и одновременно оставаться со всеми, то есть быть как все очень трудно — какая-то одна часть «формулы» непременно хочет восторжествовать и подчинить человека. Вот борьбе этих начал и посвящена «Кащеева цепь». Когда человек с малолетства носит в себе «какое-то свое лицо, напрягая все силы на его охрану» и одновременно пряча его и тоскуя по возможности «открыть это свое лицо», можно заранее сказать, что жизнь такого человека будет непроста.

Учеба мальчика в Елецкой гимназии (а Курымушка в «Кащеевой цепи» — это прототип самого Пришвина, о чем писатель не раз говорил) окажется, отмечена двумя событиями, которые во многом определят судьбу будущего писателя,— это детский «побег в Азию» и исключение из гимназии. Обстоятельства читатель сам увидит в книге, а мы скажем только о самых существенных последствиях этих событий. Побег в Азию пробудил неутолимую тягу к странствиям, охоте, постижению неведомого в родном, а исключение выработало силу сопротивления неудаче и научило зоркости к разнообразию человеческих отношений.

Виновником этих событий в жизни мальчика стал учитель географии Елецкой гимназии, впоследствии популярный русский публицист и философ В. В. Розанов. И когда судьба, спустя много лет сведет их, пожилых и известных, Пришвин запишет в дневнике, что общего в них стало больше, и это общее в том, что от острого чувства идейной пустоты, которая была так свойственна концу минувшего и началу нынешнего века, они оба нашли спасение в природе. А если перевести на одного Пришвина — от тяжести исключения (а исключили его с «волчьим билетом» без права поступле­ния в другие учебные заведения) его спасло... «бегство в Азию».

Потом в его жизни будет много разного — учеба в Сибири, институт и Риге (избавление от «волчьего билета» — отдельная история), революционная работа в марксистских кружках, одиночная камера в митавской тюрьме, высылка в родной Елец... Внешне, как это ни странно прозвучит, это типичная жизнь честного молодого человека тех лет (институт, революционная деятельность, тюрьма), но внутренне она очень отличается прежде всего напряженным вниманием Пришвина к своему призванию. Там же, в гимназии,— в бегстве и исключении — столкнувшиеся «хочется» (как требование своего лица) и «надо» (как необходимое условие, чтобы «быть со всеми») продолжали в нем неустанную борьбу, и он бился над тем, чтобы примирить их, найти такое свое место в порядке жизни, где бы, что «хочется», то было бы и тем, что «надо».

В нем всегда потаенно искал выхода «родник радости». Время было полно страданий, и радость, как он говорил, казалась «не современной», и, чтобы не задеть своих товарищей по школе и по марксистской работе, он не то чтобы скрывал постоянное чувство радости, а как бы приглушал его, не уставая искать такого выхода для себя и других, чтобы тяжесть жизни преображалась в свет. Он хорошо записал в дневнике: «Среди напряженных воле­вых революционеров, рассудительных и дельных, я похож был на Петю Ростова». Ведь и Петя видел тяжесть народной войны и все страдания вокруг, но душа просила радости и победы. Но Петя был мальчик — это понятно, а Пришвин уже изведал тюрьму, бесправие, уже успел поучиться в Германии и по возвращении много, тяжело и беспорядочно поработать в частных и государственных хозяйствах, развивая свои агрономические знания, выпустил даже специальные работы (его книга «Картофель в огородной культуре» долго была авторитетна), но при этом все равно ни на миг не терял в себе мальчика, который хочет примирить желание и долг, оправдать жизнь радостью.

Если задуматься, то с этой ищущей выхода радостью жить гораздо труднее, потому что всякое страдание жизни ранит вдвойне. Страдание для него есть та самая «кащеева цепь», которая держит человека в плену, не давая ему вырваться на свободу. И когда в конце первого звена романа на Курымушку «смотрят все отцы от Адама с новой, и вечной надеждой: «Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кащееву цепь?!», то это надо понимать и как обязательство мальчика перед своей личностью и своим только предчувствуемым долгом, но одновременно думается, и как призыв к каждому взрослому не забывать в себе ребенка, потому что «золотое детство — есть тайный замысел разбить необходимость привычки».

Те, кто прочитает «Кащееву цепь» полностью, увидят, как возбуждённо беспокойна, как тяжела была для Пришвина первая половина жизни, которая ушла, как он говорил, на «усвоение чужого ума», когда он надеялся победить жизнь знанием, найти удовлетворение в серьезной науке. Неизвестно, сколько бы продолжались поиски себя (такие метания могут затянуться на целую жизнь), если бы однажды, ожидая поезд на каком-то полустанке, он, чтобы скоротать время, не надумал написать о том, какая прекрасная и несчастливая любовь постигла его во время учебы в Германии. Пришвин считал потом этот полустанок своей писательской колыбелью. Ему внезапно, как подарок, открылась освободительная сила слова. Но это со стороны «как подарок», а на самом-то деле сосредоточенная его душа шла к этому неуклонно. Он понял, что желание сказать другому о том, что пережито тобой, и о том, как выйти из тупика, может принести освобождение и говорящему и слушающему. Он писал о своем, а думал о трудной жизни других людей, о том, как их освободить от «кащеевой цепи» привычки и смирения перед жизнью, и это его как будто совсем личное давнее «хочу», словно само собой, претворялось в общее «надо».

Лучше и глубже других понимавшая творчество Пришвина жена писателя В. Д. Пришвина очень хорошо определила существо его взгляда на открывшуюся литературную дорогу: «С первого своего рассказа он понимает писательство как дар и долг, как нравственное поручение связать в узел оборванные концы неудавшихся существований окружающих его людей, найти оправдание и смысл их жизни».

С этой поры и начинается его путь к другому, к другу, как он неизменно называет читателя. Он был сыном своего времени, и по его книгам дореволюционных лет мы можем восстановить круг исканий русской интеллигенции и сложный путь общественной мысли той поры.

Детское бегство в Азию приведет писателя на Север, и он напишет замечательные книги «В краю непуганых птиц» и «За волшебным колобком». Он поедет записывать обычаи, былины и сказки, выполнять как будто академическое поручение, а увидит своё — как человек преодолевает личную отдельность, чтобы быть со всеми, как радость делает человека свободным. Это хоро­шо видно в счастливом «Колобке», где при всей тяжести и часто грубости жизни нет, кажется, ни одного несчастного человека. Все живут обычной, часто невыносимо трудной жизнью, но как будто в сказке, потому что природа входит в обиход людей так тесно, так близко, что они и сами становятся ее частью; и море, ветер, рыба, птицы шумят, плывут и летят вместе с людьми.

В этом секрет и отдельность Пришвина — найти небывалое в обыденной жизни. Книжки потому и стали сразу так любимы, а писатель известен, что он возвращал читателю привычную жизнь обновленной, «умытой», умной и неожиданной. Для этого он ничего не приукрашивал, и жизнь оставалась груба и опасна, бедна и жестока, какова она всегда была на Севере, но в ней словно проступал порядок и направление, будто приотворялась дверь и входили день и свет, с которыми все обретало значение и смысл.

Он умел непонятным образом убрать частности, оставляя недвижное «зерно времени», то в жизни, что больше принадлежит вечности, которая при этом оказывалась домашней, будничной, родной, так что скоро нам начинает казаться, будто мы знали эту жизнь всегда и сами были обитателями Олонецкого края и ходили по Лапландии и плавали по Белому морю. Чем он этого добивается, так прямо и не скажешь. Может быть, отличной речью, точно обдуманной стилистикой, которая и совсем проста, но вместе с тем как будто немного затруднена, так что при чтении мы все время делаем небольшое усилие, чтобы фраза улеглась в сознании вся. А пока она там укладывается, пока ты совершаешь это усилие полного понимания, ты и входишь в мир как равный и не видишь, где остановился писатель и где ты додумал сказанное своим сердцем.

Лучшее тому подтверждение маленькая повесть «Черный араб» о дорогой с детства, на этот раз настоящей Азии, где в пустыне под низкими звездами «только дикие кони перебегают от оазиса к оазису». Потом мы находим в его дневнике, что после этой поездки «мог бы написать о Средней Азии десять таких книг», как «В краю непуганых птиц», но все научные материалы «пожертвовал для коротенькой поэмы в два печатных листа».

Поэма вышла в ноябрьской книжке «Русской мысли» за 1910 год. Казалось, ее никто не заметит, потому что в те дни Россия прощалась с Л. Н. Толстым (он умер 7 ноября). Но М. Горький, будучи тогда на Капри, писал 9 ноября одному из своих друзей: «Вчера ночью взял книжку Р(усской) М(ысли) и на полчаса забылся в глубоком восхищении,— то же, думаю, будет и с Вами, когда Вы прочтете превосходную вещь Пришвина «Черный араб». Вот как надо писать путевое, мимоидущее. Этот Пришвин вообще — талант».

Теперь Горький будет встречать с любопытством каждую пришвинскую книгу, и находить лучшие слова, и схватывать в книгах самое существенное зорким умом талантливого читателя и глубоко заинтересованного в судьбах русской литературы человека. Он следит за рождением первых звеньев «Кащеевой цепи» и сразу отмечает главное: «Курымушка — удивительная личность» (и слово «личность» подчеркивает, так что и мы уже будем потом читать эти главы не с обычным умилением перед мыслью ребенка, а с серьезным вниманием к рождению Человека). Появится вторая часть, и Горький опять не забудет сказать в письме: «Вчера с восхищением прочитал «Любовь»... Чудеснейший Вы художник». Когда же выйдут «Родники Берендея», Горький напишет, кажется, прямо на полях книги, пока не остыло впечатление: «Светлейшая душа Ваша освещает всю жизнь. «И когда я стал — мир пошел» — это так хорошо, что хочется кричать: ура, вот оно русское искусство!»

«Светлейшая душа» — это все тот же «родник радости». А между тем революционная буря прошла по судьбе Пришвина особенно тяжело. Жизнь его в эту пору была отмечена несчетными утратами (умерли все братья и сестра), сам он странствовал уже поневоле, чтобы не умереть с голоду, надолго забывая в себе писателя, работая на пропитание. Несмотря на это, Пришвин сохранил в себе лучшее, и не только сохранил, но и прибавил. А помогало ему старое правило — забывать о себе для другого — и родственное внимание ко всему живому, отчего и человек открывался как необыкновенный. Это была их общая с Горьким черта. Ведь и тот не напрасно именно в письме Пришвину пишет: «...вокруг нас нет ничего удивительнее и непостижимее нас самих. Утверждаю, что мир будет счастлив и велик лишь с того дня, когда весь человек его удивится себе самому».

Это по-прежнему, несмотря на простоту мысли, очень ново и по-прежнему остается только заветной мечтой. Как новы и с каждым днем как будто все более насущны мысли самого Пришвина о человеке в природе. Вероятно, эта новизна происходит из-за того, что писатель выстрадал каждую свою мысль долгой и сложной жизнью в природе, в постоянном диалоге с ней. Пришвин не зря, как заклинание, твердил о необходимости сохранить в себе ребенка — это главное условие его пути к единству. Только в детстве мир полон, и дерево равноправно человеку, и все люди кажутся родными друг другу, и природа не пейзаж, а живое целое.

Однажды, остро почувствовав это (села на окно синица, и он вдруг внезапно с пронзительной ясностью понял, что они связаны друг с другом, словно это знакомая и родная ему синица). Пришвин уже не забывал чувства родства, а дисциплина наблюдения проявляющаяся у ведущего дневник человека, только помогала ему подтвердить и углубить это чувство. Дневник был ежедневным благодарным усилием навстречу миру, способом соучастия в мире, ежедневным ответом на голос природы. Каждой записью он говорил: «Слышу и понимаю твою речь вот так!» Вместе с другой постоянной учебой — у русской литературы и родного языка («я шел путем всех наших крупнейших писателей, шел странником в русском народе, прислушиваясь к его говору») - учеба у природы помогала ему выполнять свою детскую клятву об освобождении людей от «кащеевой цепи».

Ну и, может быть, еще одно надо непременно помянуть — он был целомудренным художником. Слово это стало, к несчастью, почти устаревшим, но в жизни Пришвина значило очень много. Горький не зря отмечал его главу «Любовь» в «Кащеевой цепи». Это чувство было так важно для духовного здоровья художника, и понимал он его так серьезно и глубоко, ища редкой в мире, но необходимой целостной мудрости (это и есть целомудрие) в отношениях с другим человеком, что не могло не оставить следа в его творчестве. Во всех его лучших книгах бьется вопрос о Марье Моревне, о согласии и чистоте, которые есть в природе, а значит, должны быть и в человеке. Он много думал об этом в «Кащеевой цепи», но глубже и полнее всего выразил в замечательной книге «Жень-шень», которую, как и все книги Пришвина, нельзя пересказать, а можно только удивиться, как умел он слышать живое и как, потеряв реальную любовь, сумел восстановить свою душу в любви к Родине, к природе, найдя в ней ответ и ободрение. И опять лучше всех и уместнее кажутся слова Горького: «... это ощущение земли как своей плоти, удивительно внятно звучит для меня в книгах Ваших, муж и сын великой матери».

Пришвин знал цену этой своей книге. Он назвал ее — «песнь песней», и она поила его своей силой, словно и сама была целительна, как всемогущий жень-шень. Впоследствии в годы войны, когда много переменится и в его личной жизни, в эвакуации, когда он пишет в военные журналы, ходит по деревням, фотографирует женщин и детей, чтобы они могли послать снимки мужьям на фронт, выслушивает горе человеческое и помогает людям чем может, он часто будет возвращаться к мыслям и темам этой книги, и любовь, как преображающая сила, станет основной мыслью «Повести нашего времени». Величавый покой интонации, народное достоинство перед бедой, когда «жизнь разорвана» и дело художника «справедливостью связать времена», наполняет эту книгу светом и силой, и любовь из «частного» чувства делается чувством народно-важным, как источник единства и победы.

Не зря именно в это время родилась его философская формула, которая стала и творческим принципом: пишу, следовательно, люблю, а люблю, следовательно, существую. Только, если в первые годы творчества это была любовь более к природе, как к живому и неотделимому от человека миру (она достигла в «Женьшене» наибольшей полноты, так что Пришвин и сам определял эту книгу как страстный призыв друга, столь сильный, что он уже не мог быть не услышан), то в «Повести нашего времени» это была любовь к самому человеку. Могущественное чувство радости, причина которого в существовании другого человека, еще не так распространено, как нам кажется. Оно трудно, как все хорошее, оно берет исток в том же «роднике радости» и делает «Повесть», несмотря на драматизм материала, счастливой и своим счастьем лучше всего убеждающей в великой силе народа. Академик А. А. Ухтомский, оставивший необычайно глубокие дневники, записал по поводу воздействия книг Пришвина: «По форме писательства он, несомненно, классик, из плеяды Тургенева и Аксакова, но что для меня гораздо важнее, он в писательстве — открыватель нового в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом».

Самое дорогое тут то, что писатель не только в себе открывает эту сосредоточенность на другом, но в самом народе, отчего лучшие его книги читаются нами как собственный дневник или как личное к нам обращение, где «друг мой» воспринимается не как прием, а именно как оклик твоего «я». Такая личностность про­исходит из глубокой искренности художника, который не из праздного любопытства оглядывает мир, а чтобы найти выход своей душе и через себя — другому. Другой же причиной успеха является то, что каждого человека и каждый предмет он с первых лет пишет как единственный, никогда не впадая в соблазн типизации. «Не из книг, друзья мои, беру слова,— писал он в «Повести нашего времени»,— а как голыши собираю с дороги и точу их собственным опытом жизни, и если мне скажут теперь, что неверно о чем-нибудь высказываю, то я беру своего судью за рукав и привожу к тому, о ком говорил: «Вот он». А если это вещь, то укажу и на вещь: «Вот она лежит». Так точно и о всем живом я, как словесный хозяин, могу каждого привести на место и указать: «Вот оно растет, так оно цветет, здесь умирает».

Такая единственность особенно дорога в пору, когда люди предпочитают прятать равнодушие к природе и человеку за слишком отвлеченными и чрезмерно обобщительными понятиями — космос, человечество, будущее, экологическое равновесие... Большие слова хороши, но они безличны, за ними, как в тумане, теряется конкретный человек и обычный куст при дороге или ключ в соседнем овраге, слишком простые и бедные для торжественного слова «экология». Пришвин все время помнит единственное («вот оно растет, так оно цветет»), и Горький в первую очередь всегда отмечал именно это качество: «... для меня ценнейший смысл работы Пришвина сводится именно к его поразительному умению создавать словами лицо его земли, живой образ его страны». За это же единственное и узнаваемое лицо страны любят Пришвина и юные читатели.

Собственно детским писателем Пришвин стал считаться довольно поздно, хотя его дореволюционный издатель Девриен уже по первой книге «В краю непуганых птиц» догадался о значимости такого личного взгляда и, выслушав первую главу, побежал звать детей, чтобы дальше слушать вместе. Зоркий к русским у языку и духу родной истории и природы, близкий Пришвину в начальный период творчества, писатель А. М. Ремизов тоже довольно рано разглядел в нем хорошего и полезного детского собеседника и еще перед февральской революцией советовал К. И. Чуковскому привлечь Пришвина к работе в детской лите­ратуре и прибавлял, что «детям русским надо и русский язык...» Настойчивость и резкость рекомендации говорит о том, что сами детские хрестоматии тогда еще не разглядели Пришвина как своего. Да ведь и трудно было увидеть, потому что мальчика он помнил в себе всегда, но смотрел глазами взрослого человека, и даже Курымушка — это не тот мальчик, к которому мы привыкли в детской литературе, и он только годами родня героям Аксакова, Гарина-Михайловского, Л. Толстого и А. Толстого, а мыслями и возрастом души он совсем взрослый. Его и проблемы заботят именно те, которые ничуть не меньше тревожат и пожилых, изве­давших жизнь людей,— как перевести свое малое личное в боль­шое общее, примирить свободу и долг. И «Родники Берендея», при всей сказочности названия, были не детям адресованы, а ослепшему в больших заботах человеку, которого надобно остеречь, чтобы он не потерял связи с живым, обыденным миром и не разрушил своего природного существа. И даже мальчик Зуек в главах довоенной повести «Падун» о строительстве Беломорско-Балтийского канала, этот северный Курымушка, опять бился над вопросами, которые решает каждый человек, приходя в сопри­косновение с землей, и думал о примирении своего «хочется» с природным «надо».

Пожалуй, только маленькие рассказы поздних лет, которые писатель объединил в циклы «Лисичкин хлеб», «О чем шепчутся раки», «В краю дедушки Мазая» и «Дедушкин валенок», можно счесть подлинно детскими. Он любил их, радовался их успеху и для себя объяснял их удачу так: «Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, сохранившие в себе свое личное дитя». Наверное, это правда, и рассказы потому и стали детскими и любимыми, что он не успел в них «надумать от себя чего-нибудь лишнего», усложнить отвлеченной мыслью.

Свою лучшую детскую книгу «Золотой луг» Пришвин составил из вполне взрослых книг («Рассказы егеря», «Лесная капель», «Неодетая весна», «Календарь природы») и из дневников и в этой работе как-то особенно ясно увидел, как тонка грань между сказкой и реальностью, когда пишешь о природе, а думаешь о людях.

Долгий опыт «правдивого сказочника», всегда помнившего свое обязательство держать в уме все (и самые темные и жестокие) стороны жизни, но читателя вести к свету, помог ему после войны истосковавшимся по радости сердцем всего в месяц написать «Кладовую солнца». Сюжет этой мудрой сказки родился за сорок лет до самой книги, когда Пришвин собирался написать для Журнала «Родник» повесть о мальчике, заблудившемся в лесу, о юном деревенском Робинзоне. Не знаем, какова бы вышла повесть тогда, но сейчас она вместе с продолжающей ее «Корабельной чащей» рассказывает большому и маленькому чи­ателю, как нужно с детских лет быть внимательным и бережным к окружающему миру, и тогда этот мир в благодарность (как это всегда было в сказках, когда сначала надо помочь и яблоне, и реке, и зверю) приходит на помощь человеку.

Эти прекрасные книги лучше всего доказывают, что небывалое ждет человека не где-нибудь в далеких краях, а прямо за околицей, как ждало оно Митрашу и Настю. Славные эти дети так сердечно слиты, что один и подумать не успел, как другой уж это сделал или высказал, и потому им ничего не трудно и они, проходя в «Корабельной чаще» страну из конца в конец в поисках раненого отца, узнают и прозревают чуткой душой всю милосердную Родину.

Все лучшее, что увидел и понял Пришвин за долгую жизнь, он собрал в эти светлые книги, где герои день за днем постигают насущные, словно прямо сегодня сказанные слова: «Не гонитесь поодиночке за счастьем, а гонитесь дружно за правдой». Он имел право сказать о «Кладовой солнца», что ее «будут читать, как новое, и через сто лет». Он мог сказать это и о «Корабельной чаще», написанной перед самой кончиной и вставшей на защиту природы и правды с еще не вполне оцененной нами серьезностью и глубиной.

Думая над своей неизменной проблемой о границе природы — «где природа кончается и начинается человек», он теперь на последнем пороге окончательно понял и через детей «Кладовой» и «Чащи» показал нам, что в высшем смысле нет различия между человеком и природой, они проникают друг в друга, и только если они слиты воедино — это и есть жизнь и мера отношений. В сегодняшней острой борьбе, за спасение оказавшейся под угрозой природы эти повести становятся помощником и подсказчиком, указывают наиболее умную дорогу, по которой можно идти к спасению всего живого.

Вместо «я» и «ты» он открывал в этих книгах великую силу «мы с тобой», а в дневниках последнего времени говорил, что тут и кроется настоящая сила жизненного творчества. Нам еще только предстоит осознать полноту и глубину заветов художника, еще только предстоит понять, что в природе все: и достижения науки, и развитие общества, и заботы человека, и рябина на опушке, и птичка зарянка на верхнем пальчике ели, славящая утро,— являются единым организмом. Сам писатель называл такое счастливое единство человека и мира своей «коммунистической утопией», но писал ее как коммунистическую реальность и всем своим опытом и опытом своих маленьких героев в прекрасных, очень нужных нам книгах доказывал для всех возможность и необходимость осуществления этой «утопии» в повседневной жизни, в новом, правильно понятом наступающем мире.

Всю жизнь он вглядывался как будто только в свое «я», но видел в нем зеркало общего человеческого «мы» и терпеливо и последовательно звал каждого к «личному подвигу» по «собственной линии жизни».

Мальчиком он вышел в путь самопознания и никогда не опускал головы перед жизнью и в благодарность природа и человек открылись ему в такой полноте, что порой мы чувствуем при чтении внезапное волнение, словно вот-вот проникнем в существо мира, словно материя жизни становится прозрачной и приоткрывается незримый порядок всего живого. Пусть только на миг, но мы отчетливо понимаем, что в мире нет ничего сложного, ничего путаного и темного, нет слабости и сомнения, а есть свет и правда. Этого мгновения может потом хватить на целую осмысленную жизнь. Но чтобы увидеть его вместе с художником, надо держать душу в готовности и принимать мир, как учил писатель,— с «родственным вниманием».